

СЛОЙ

Новая газета. — 1998.
23 февр. — 1 марта. — с. 17Отнять
печатные станки у Минфина.
И передать литераторам

А. К. М.

Я сейчас не о писателе В. Пелевине. Я — о вдруг возродившейся спустя много лет одной из ценнейших традиций отечественной интеллигенции в этом веке. Помните: «А вы читали эту вещь в «Новом мире»?» — «Что касается той повести в «Юности», которую вы, конечно, уже прочли...» — и так далее? Меня, приехавшую в конце 60-х в МГУ учиться с ныне независимой Украины, вся эта, как мне казалось, болтовня изрядно раздражала. Но постепенно я и сама втянулась в круговорот мнений по публикации в толстых журналах, мне импонировало, что без всяких церемоний можно было начать обсуждение романа со случайным получиком, прохожим, соседом по купе...

Так называемые толстые журналы, будучи немногочисленными, объединяли собою круг читающей публики, как некое невидимое братство, — и все это рухнуло в конце перестройки.

Но вот, преодолев некую мертвую зону, появляется в журнале «Знамя» позапрошлым летом «Чапаев и Пустота». И посыпалось: «Ты читала?», «Прочти обязательно!»

Без всякого лукавства, от всего сердца благодарю Виктора за то, что он возродил этот необходимейший в нашей культуре жанр — «книга, которую читают все». Слово «бестселлер» тут узковато или, наоборот, широковато: я говорю ведь не о масс-культуре. Я — о той литературе, которая дает читающей публике ощущение общности, духовного родства.

Итак, Чапаев. И Пустота. Но главное — пустота. «Это первый роман в мировой литературе, — заявил сам автор, — действие которого происходит в абсолютной пустоте». Вслед за его цитатой — пояснение (издателя, очевидно), что «на самом деле» выделено мною. — О. М.) оно (то есть действие. — О. М.) происходит в 1919 году в дивизии Чапаева, у которого главный герой — поэт-декадент Петр Пустота — служит комиссаром». Но и к подобному выводу я бы отнеслась осторожно: ведь в том-то и дело, что нет в романе этого самого «на самом деле». Так что, может, и это нескладное объяснение читателя — всего лишь игра, неизбежная в постмодернизме.

Главная удача Пелевина в том, что текст его действительно абсолютно адекватен психическому состоянию общества (в лице его не худших представителей). Исчезновение чувства реальности стремительно; в России в конце века быть сумасшедшим

(то есть сошедшим с рельсов объективной реальности) — норма. Я долго оспаривала это в своем кругу, доказывала, что быть сумасшедшим — неприлично (мне даже психиатры бурно возражали), что быть сумасшедшим — некрасиво, со мной мало кто соглашался. Так вот, прочтя Пелевина, я сдаюсь. По одежке протягивай ножки. Я больше не призываю к психической гигиене в искусстве, у меня не осталось доводов, слишком выразителен в пелевинском романе отгиск нашего безумия конца века в России. В Интернете гуляют версии

БЫТЬ сумасшедшим некрасиво?

Виктор Пелевин как частный случай нашей несчастной жизни

о приготовлении снадобья из мухоморов для прорыва в иную реальность — валяйте. Там же расходится текст Рона Хаббарда (или его подделка), где он называет себя Люцифером. Вперед. А я Мама Римская. Игра так игра, ребята. Играют все! И действительно, почему в этой насквозь игровой, несамделишной стихии Пелевин должен испытывать хоть какую-то — ну пусть не любовь, но жалость к рехнувшейся отчизне, что он, рыжий? Он же не поэт Серебряного века Михаил Кузмин, который призывал собратьев по перу, просыпаясь, тщательно стирать, как губкой, сновидения, не поддаваясь на их волшебную дудочку-удочку, отсюда и название его стиля: кларизм (от французского слова «ясность»!).

Да обкуритесь вы все теперь марихуаной вусмерть, напикайте себя ЛСД, как мальчики в Литинституте, — пальцем

не пошевельну. Быть сумасшедшим — это норма. И именно перу Пелевина-писателя принадлежит по праву столь ненавистная Пелевину-человеку правда отражения реальности.

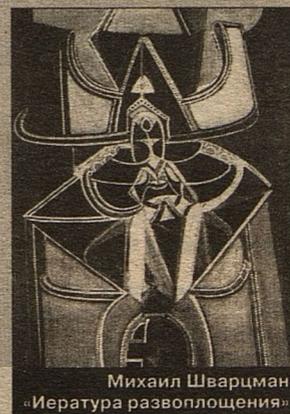
И еще. Мне не близок насквозь туманный и смутный, сновидческий тип самоощущения главного героя, а может, и самого автора. Но судьба меня свела еще в середине 70-х с группой талантливых и принципиально одиноких подростков, которым был свойствен или хотя бы понятен сумеречный стиль жизнеощущения андеграунда.

И я была просто счастлива, услышав от одного из них, нынче сорокалетнего литератора, оценку романа Пелевина, схожую с глубоким вздохом обле-

И вот роман Пелевина это зафиксировал, вывел наружу. Мой друг, волнуясь, говорил, что чувство такое, будто поднялись наконец из своих подземелий. И за этот терапевтический эффект я глубоко благодарна Пелевину.

Ну и, конечно, — за мастерство. Но ведь литературность, даже самая виртуозная, — еще не литература. То же мне видится и с Карлосом Кастанедой, даже сюжеты схожи: у Кастанеды Дон Хуан — учитель и проводник главного героя по всему шухеру, у Пелевина — Чапаев (мистический, конечно, а не биографический) проводник Петра Пустоты по эзотерическому, сакральному мирозданию.

СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛА



Михаил Шварцман
«Иература развоплощения»

И, наконец, самое главное: роман Пелевина именно вследствие его масштабности и законченности как бы подводит, на мой взгляд, черту под занятым явлением: российским постмодернизмом. Пелевин выразил его окончательно, и все последующие книги — его или соратников по жанру — уже будут вторичны.

А дальше? Дальше вот наступит эпоха, которую, например, теоретик постмодернизма Михаил Эпштейн назвал «искренний сентиментализм». Ну а Пелевину, который может вскоре и перестать быть автором, «которого все читают», желаю почетной отставки.

● Ольга МАРИНИЧЕВА